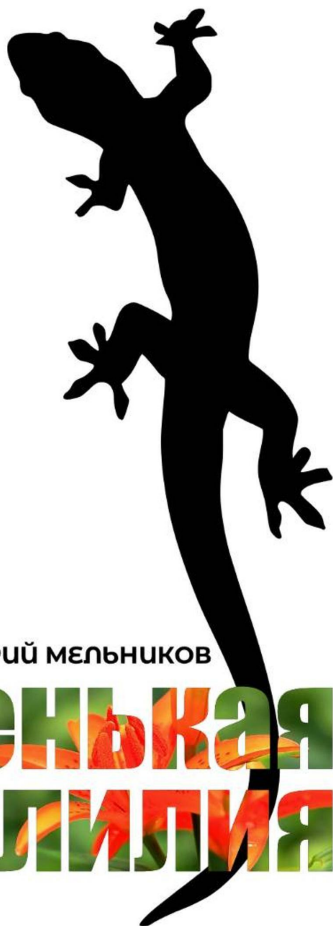


ひめゆり



ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ

Маленькая Лилия

18+

Юрий Мельников

Маленькая лилия

<https://litres.ru/74174423>

SelfPub; 2026

Аннотация

В современной литературе о Второй мировой войне, кажется, не осталось слепых зон. Мы видели трагедию Европы, читали хроники Холокоста и по секундам знаем историю Хиросимы. Но Окинавская катастрофа 1945 года — операция «Стальной тайфун» (кодовое название: Операция «Айсберг»), перемоловший треть гражданского населения цветущего архипелага Рюкю, — долгое время оставалась на периферии западного и российского книжного рынка, запертая в рамках локальной японской памяти. Роман «Маленькая лилия» закрывает этот разрыв с пугающим изяществом

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Пробуждение	13
Глава 2. Лес	25
Глава 3. Подсолнух	35
Глава 4. Анатомия боли	44
Глава 5. Струна	53
Глава 6. Стена бумажных птиц	64
Глава 7. Новая кожа	74
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Юрий Мельников

Маленькая лилия

Я твоё повторяю имя
По ночам во тьме молчаливой,
и звучит оно так отдалённо,
как ещё никогда не звучало.
Это имя дальше, чем звезды,
и печальней, чем дождь усталый
— *Федерико Гарсиа Лорка*

Пролог

Она сидела на тёплом камне.

Камень помнил утро — помнил, как первый луч коснулся его шершавой поверхности, как роса лениво стекла по бокам, исчезая в сухой земле, как он начал медленно, по капле, вбирать в себя слепящий зенитный свет, — и теперь, к полудню, он хранил в себе столько плотного, густого тепла, что можно было бы сварить на нём яйцо, если бы у кого-нибудь в этом мире нашлось яйцо, и если бы кому-нибудь захотелось его варить, и если бы вообще существовал кто-то, кроме неё самой.

Но никого не было. Был только камень. Было солнце, лежавшее на плечах тяжёлой золотой монетой. Был запах — сухой, горьковатый, как выдох земли, которая давно перестала молиться о дожде и забыла имена своих богов. Трава пахла не травой, она пахла памятью о траве: то, что осталось от стеблей после месяцев безводья и зноя, — пылью, в которой ещё теплился едва различимый, призрачный дух дикой мяты и полыни. Где-то далеко, может быть, за холмом, может быть, за морем — она ещё не знала, что такое море, но чувствовала его тонкую, соль разъедающую завязь в воздухе, — где-то далеко горело что-то большое. Дым не был виден, небо оставалось прозрачным и звенящим, но нос его различал: едва заметную, старую горечь, словно кто-то положил

на самый край горизонта раскалённый, сочащийся антрацитовым блеском уголь.

Она не помнила, как оказалась здесь. Ей казалось, что она всегда здесь сидела, обхватив руками острые, сухие коленки.

Валун, на котором она устроилась, был не один. Вокруг, словно остановленные на полпути к превращению в гору или разрушению в прах, лежали другие — серые, рыжие, с прожилками белого кварца, похожими на замёрзшие во времени молнии. Они были тёплые все, каждый по-своему: один — как ладонь матери, пахнувшая рисовой мукой и мылом, другой — как горячее дыхание собаки, третий — как щёки после долгого, исступлённого плача, когда слёзы уже кончились, а жар остался. Между камнями росли сухие кустики — не то иссоп, не то колючий кустарник, — чьи стебли были тонки и упруги, как ржавая проволока, и мелкие листья пахли так остро, что от этого запаха хотелось чихнуть и плакать одновременно.

Потом она увидела ящерицу.

Ящерица лежала на плоском камне — чуть левее и выше её ладони — и пила солнце. Она была похожа на крошечного дракона, вылитого из старой малахитовой крошки и жидкой, потемневшей бронзы. Изумрудная чешуя ловила лучи, превращая их в слепящие, микроскопические искры. Она лежала так неподвижно, что в первое мгновение девочка приняла её за древний рисунок, выбитый на камне: та же серо-коричневая изнанка, те же тёмные крапинки, тот же мел-

кий, почти нечеловеческий узор. Но потом ящерица моргнула — одним мгновенным, полупрозрачным сокращением кожистой перепонки, — и девочка поняла: это живое. Внутри этого маленького тела пульсировало время.

Девочка не шевелилась. Она знала — не от кого-то, не из книжных слов — от самого факта собственного присутствия здесь, в этом безжалостном свете, — она знала, что нужно быть тихой. Тише, чем сама тишина. Тише, чем ползущая по песчинкам тень.

Ящерица грелась.

Её тело было распластано по камню с тем абсолютным, жутковатым доверием, которое доступно только существам с холодной кровью. Она впускала в себя полдень — через чешую, через костяные пластины черепа, через каждый тончайший суставчик хвоста, — и превращала этот жар в движение, в чистую жизнь, в подспудную способность в один миг исчезнуть в расщелине, если мир вокруг вдруг станет небезопасным. Но мир пока не был небезопасным. Мир состоял из тепла, камня и запаха полыни. Мир был красив.

Девочка смотрела на ящерицу и видела всё с пугающей, почти болезненной чёткостью:

Пять пальцев каждой крошечной лапки, прижатых к шершавому кварцу, — с едва различимыми присосками на кончиках, похожими на маковые зёрнышки;

Бока, которые двигались — едва-едва, но непрерывно, — и от этого движения по чешуе пробегала мелкая рябь, как по

зеркалу воды, в которую бросили невидимый волосок, только наоборот: не сверху вниз, а изнутри наружу;

Хвост. Длинный, изящный, уходящий от тела, как фраза, которую не успели или поленились закончить, — он лежал на камне идеальной дугой, и каждая его чешуйка отбрасывала свою собственную, отдельную, миниатюрную тень;

И глаза. Два круглых, выпуклых, жёлтых глаза с вертикальными зрачками, в которых не было ни мысли, ни страха — ничего, кроме готовности уйти. Вспыхнуть и исчезнуть.

Девочка думала о том, как правильно быть ящерицей. Как хорошо — греться на раскалённом валуне и знать, что ты — продолжение этого валуна, и часть солнца, и часть полынно-го суховея, и что нет никакой разницы между твоим телом и этим миром, потому что ты — просто одно из мест, где мир решил стать плотным и осязаемым на какое-то короткое время.

Она протянула руку — медленно, как движется человек, идущий по горной тропе, где-то далеко от тебя, — не чтобы потрогать — чтобы почувствовать, просто стать ближе, — и её пальцы, испачканные в серой известковой пыли, зависли в воздухе.

И тогда раздался Звук.

Он пришёл не справа и не слева, он пришёл отовсюду — сверху, из вылинявшей синевы, и снизу, из гранитных недр. Это не было громом — гром она бы узнала, гром она помнила всем своим телом, помнила тем, как воздух вдруг обо-

рачивается железной стеной и бьёт тебя в грудь, в уши, выбивая зубы и мысли. Это было другое. Обвал. Натужный, утробный треск разрываемой ткани мира, расколовшегося по какому-то невидимому, древнему шву, — как если бы огромная невидимая рука взяла саму гору и согнула её пополам, ломая хребет.

Камни вокруг глухо, страшно загудели. Земля передала сухую, мелкую вибрацию в копчик, в бёдра, в самое основание черепа — не громко, но так глубоко, что этот звук воспринимался не барабанными перепонками, а самим позвоночником. Где-то — близко, за спиной или внутри самой скалы — тяжелейший пласт сдвинулся, сорвался и рассыпался в прах, и от этого невидимого разрушения воздух мгновенно наполнился каменной пудрой. Она не имела вкуса, но имела весомую плотность: она оседала на сухих губах, на ресницах, на раскрытых, замерших ладонях.

Птицы.

Они поднялись все разом — не стая, не две — все, до единой, все пернатые существа, которые прятались до этого момента в расщелинах, в колючих кустах, на уступах. Их крик был не пением и не щебетом — он был чистым, сухим, нечленораздельным ужасом, превращённым в ультразвуковую волну. Они кричали так, как кричат перед лицом окончательного уничтожения существа, у которых нет слов и потому нет возможности солгать или утешиться. Их крик был правдив — безнадёжно, абсолютно правдив — и от этой

плотной правды воздух сгустился, стал матовым, и на мгновение солнце над головой померкло.

Тень.

Она упала на камень стремительно и хищно — не как обычное облако, а как падение чего-то тяжёлого и невидимого. Это было не просто затемнение, это было столкновение холода и тепла. Тень была густой, почти антрацитовый, без градиентов и полутонов — абсолютная, глухая невозможность света. Потянуло внезапным, склеротическим холодом склепа.

Ящерица исчезла.

Нет, это было не исчезновение. В её первобытном мозгу сработал древний, непреложный закон: чтобы остаться в живых, нужно уметь отсечь часть себя. Нужно оставить миру то, за что он пытается тебя удержать. Раздался едва слышимый, влажный, короткий щелчок — звук разрыва живых волокон. Изумрудно-бронзовая молния метнулась в тёмную, спасительную трещину между камнями. Но на валуне остался лежать хвост.

Он не был мёртв. Он извивался, подпрыгивал, яростно и ритмично хлестал по серому камню, танцуя свой собственный, безумный, предсмертный танец. В этом крошечном обрубке плоти, в этой чешуйчатой полоске было столько отчаянной, бьющейся, слепой энергии, словно он пытался обмануть упавшую тень, принять весь удар на себя, пока сама ящерица затихала в глубине расселины. Это была чистая фи-

зиология, возведённая в абсолют красоты: ритм нервов, ещё не понявших, что они больше никому не принадлежат. Хвост изгибался, как натянутая и отпущенная струна, которая всё ещё дрожит, помня свою последнюю, самую высокую ноту.

Девочка ахнула. Шок пригвоздил её к месту, но затем она медленно, словно подчиняясь чужой воле, протянула руку.

Её пальцы осторожно смыкались на бьющемся кусочке.

Он лёг ей в ладонь. Тёплый. Невесомый. Судорожно подвижный — его кончик ещё подрагивал, как нитка на ветру. Она чувствовала каждой клеткой кожи, каждым рецептором на подушечках пальцев, как гладки и твёрдо-холодны были чешуйки на изгибах, и как между ними проступала живая, нежная, розоватая кожа — влажная, как кончик языка.

И тут же её настиг запах. Это была не кровь — ящерицы не пахнут железом и человеческой бойней. Это был другой запах — тонкий, сухой, как у разломанной зелёной ветки, как у сока, который выступает на месте насильственного разрыва. Запах расставания. Запах того, как живое оставляет часть себя, чтобы продолжать дышать.

Она смотрела на хвост. У него не было глаз, но он лежал в её ладони так доверчиво и тяжело, словно это было самое драгоценное приношение. Кончик наконец перестал дёргаться. Последняя судорога утихла, оставив лишь тепло.

Девочка подняла глаза. Расщелина, куда укрылся маленький изумрудный дракон, была бездонной и безмолвной. Оттуда не доносилось ни звука.

Каменная пыль медленно осела, закружившись в невидимых потоках воздуха. Птицы замолкли, спрятавшись обратно в свои каменные норы. Солнце вернулось — точно такое же, каким оно было до звука, до страшной тени и птичьего крика. Валун под ней снова наливался золотым жаром, полынь пахла всё так же горько, и на самом краю земли всё так же бездымно тлел невидимый уголёк.

Она закрыла ладонь — медленно, бережно, как закрывают старую, священную книгу, — и прижала кулак к груди, прямо к бьющемуся сердцу.

Она не плакала. Она не улыбалась. Она просто сидела на раскалённом камне посреди бесконечного «сейчас», держа в руках то, что было потеряно, и зная, что эта потеря — самое настоящее и честное, что у неё осталось.

Потом навалился сон. Густой и тёплый, как шерстяное одеяло.

А когда она проснулась, ладонь была пуста. Хвост исчез — унесённый ветром, муравьями или самой землёй. Но на коже остались два тонких, полукруглых следа от чешуек, вдавленных в плоть так глубоко, словно это была печать. Или клеймо.

Она долго смотрела на эти следы, пока солнце не перевалило за вершину скалы, и длинная, прохладная тень не легла ей на колени. Тогда она поднялась, отряхнула пыль с подола и пошла.

Куда? Она ещё не знала.

Глава 1. Пробуждение

Клинок изогнулся, как клюв хищной птицы, и на мгновение поймал ослепительное, белое солнце — поймал так резко, вспыхнул так чисто, что глазу внутри сна стало больно.

Она стояла в податливой, прохладной тени каменной арки и видела всё вокруг с пугающей, хрустальной ясностью, какая бывает только за секунду до того, как проснёшься. Мужчина — высокий, с лицом, выдубленным пустынными ветрами до цвета старой, потемневшей бронзы, — шагнул к человеку в светлых одеждах. Движение его было безупречным по своей ленивой грации, почти нежным, почти любовным: рука его легко, без усилия нырнула в складки грубой шерсти на чужой груди, и металл вошёл в плоть со странным, мягким, шелестящим звуком, будто нож разрезал перезрелую дыню. Это было торжество чистой геометрии, идеальный, завершённый в себе акт слияния стали и человеческого тепла. На белом, неотбелённом сукне мгновенно, лепесток за лепестком, начала распускаться влажная алая хризантема. Она росла, пульсируя той самой жизнью, которая прямо сейчас покидала тело, чтобы стать просто невероятно красивым, симметричным пятном на ткани. И это пахло горячим железом, горькой медью и раскалённой пылью, от которой першило в горле.

Человек с лицом цвета бронзы обернулся. Его глаза, чёр-

ные и сухие, как вяленые маслины, встретились с её взглядом, пронзив её насквозь сквозь толщу веков и чужой памяти.

— Беги! — его крик разорвал звенящую полуденную тишину площади, как разрывают плотный шёлк. — Тамар! Беги!

И она побежала.

Узкие, сдавленные белым известняком улицы бросились ей навстречу. Воздух обжигал гортань, пах забродившим мёдом и перезрелым инжиром, который лопался под её босыми ногами. Ноги били по раскалённому, неровному камню, подошвы горели, но останавливаться было нельзя, потому что за спиной её — она чувствовала это не ушами — кожей между лопаток — двигалось что-то огромное, тяжёлое, от чего стены домов мелко и страшно дрожали. Она неслась, сбивая плечами плетёные корзины, и темно-лиловые, сочащиеся сладким соком плоды сыпались под колёса невидимых колесниц. Она нырнула в глухой переулок, и ей в лицо ударили яркие, влажные, только что выкрашенные ткани, развешанные от стены до стены: карминово-красные, густо-шафрановые, пронзительно-синие полотнища опутывали её, липли к губам, слепили, душили, лишали имени...

— Накаяма. Проснись. Слышишь? Проснись.

Синяя ткань сна мгновенно стала жёсткой, серой и холодной. Она больше не пахла ни инжиром, ни восточными пряностями. Она пахла закишим, многодневным потом, гни-

лой соломой и подспудным, липким страхом.

Юрико открыла глаза и судорожно, с хрипом вдохнула воздух, словно вынырнула со дна глубокого, заброшенного колодца. Тонкие, ледяные пальцы Мико всё ещё мёртвой хваткой сжимали её плечо, впиваясь в самую кость сквозь грязную ткань.

— Вставай, — сказала Мико. Голос её был ровным, сухим и пустым, как перевёрнутая терракотовая чаша, из которой выпито всё до последней капли. — Вставай, Юрико. Они пришли.

Вокруг была не залитая солнцем древняя площадь, а Ихамигама — пещера, ставшая третьим хирургическим госпиталем префектуры Окинава. Мрак здесь был не просто отсутствием света; он был густым, пористым, осязаемым существом, которое давило на барабанные перепонки и пахло так, что к горлу непрерывно подкатывала тяжёлая, кислая тошнота. Этот тошнотворный, сладковатый дух гангрены и разлагающейся живой плоти смешивался здесь с резкой, разъедающей ноздри вонью хлорной извести, застоявшейся мочи, карболки и сырой, перекопанной взрывами земли. С невидимого, сочащегося влагой каменного свода с монотонностью сломанного хронометра капала вода. Кап. Кап. Кап. Этот звук въедался в подкорку, отсчитывая секунды чужих жизней.

Девочки — ученицы Первой женской школы — сидели вповалку во влажной темноте, сбившись в кучи, как за-

мёрзшие, напуганные птенцы. Их школьная форма, когда-то безупречно аккуратная, с матросскими воротниками и накрахмаленными блузками, теперь стояла колом от въевшейся грязи, глины и бурой, засохшей чужой крови. Они были детьми — обычными пятнадцати-семнадцатилетними девочками из деревни Мавасиасато, с острыми, выпирающими от голода коленками, тонкими шеями и искусанными до мяса, потрескавшимися губами. Их трясло — не от холода, хотя в пещере стояла могильная, костяная сырость — от того, что страх внутри них уже перерос стадию слёз и превратился в глухое, тупое оцепенение.

В центре пещеры, освещённый дрожащим, умирающим лучом керосиновой лампы, стоял господин учитель. Его лицо, когда-то округлое и доброе, за эти недели заострилось, превратившись в обтянутый желтоватой пергаментной кожей череп. Очки в круглой оправе съехали набекрень, стёкла были покрыты сеткой мелких царапин и известковой пылью, но он не замечал этого. Он казался здесь, под этими низкими сводами, слишком большим и слишком прямым — человеком, который уже принял решение и теперь несёт его, как несут могильную плиту.

— Девочки, — сказал учитель. Голос его скрипел и спотыкался, как несмазанная дверная петля, но в затихшей пещере он разнёсся под подтолку, отражаясь от влажных стен. — Слушайте меня внимательно. Наша служба... Отряд Хи-меюри распускается. Приказ штаба. Армия больше не может

удерживать этот рубеж и защищать вас.

По пещере пронёсся тихий, коллективный судорожный вздох — так шелестят сухие листья, когда по ним проходит осенний ветер. Те, кто спал — проснулись. Те, кто тихо стоял на гнилых матах в глубине — замолкли. Служба закончилась? Для них, считавших свою работу в госпитале чем-то вечным и нерушимым, это «закончилась» прозвучало так, словно им сказали, что завтра солнце просто не взойдёт над Окинавой.

— Вы знаете, кто идёт сюда, — продолжил учитель, и в его глазах, утонувших в чёрных глазницах, на мгновение блеснул сумасшедший, лихорадочный огонь. — Американцы. Длинноносые демоны. Они не пощадят никого. Если они захватят вас живыми... то, что они сделают с вами, будет хуже смерти тысячекратно. Они обесчестят вас, разорвут на части ваши тела и выбросят собакам. Вы — дочери Императора, ученицы Первой школы. Вы не должны сдаться в плен.

Он повернулся и опустил на каменный пол тяжёлый холщовый рюкзак. Из рюкзака раздался странный — глухой, сухой, чисто керамический звук. Так бьются друг о друга керамические горшки на базаре.

Старшая медсестра, чьё лицо было белым как мел, начала передавать по рядам эти круглые, шершавые предметы. Когда очередь дошла до Юрико, её рука опустилась в мешок, и пальцы наткнулись на что-то холодное и увесистое.

— Это граната, — тихо, почти беззвучно сказал сэнсэй.

— «Тип четыре». Вы знаете, как ею пользоваться. Оружие отчаяния.

Она была сделана не из железа. Это был круглый шар из грубой, обожжённой тёмно-коричневой глины, покрытый тонким слоем шершавой глазури, величиной с крупный окинавский апельсин. Её делали не на военных заводах, а в гончарных мастерских, вручную, когда у Империи кончился металл.

— И ещё кое-что, — учитель достал из кармана маленькие бумажные пакетики, которые шуршали в его дрожащих пальцах. — Это цианид. На случай, если граната даст осечку. Там, у выхода, на кухне остались два бидона со сгущённым молоком. Вы можете... добавить это туда. Размешать. И выпить. Так будет легче.

Никто не заплакал. Слово «молоко» — единственное мирное, сладкое слово из прошлой жизни — прозвучало здесь как страшный, нелепый анекдот.

— Учитель... — голос девочки из угла пещеры, где лежали самые тяжёлые, ампутированные, дрожал так сильно, что слова ломались. — А как же раненые? Мы оставим их? Что будет с ними?

Минато Кобаяси на секунду замер. Его руки, держащие керамический шар, задрожали сильнее, но он не повернул головы во мрак, туда, где на сочащихся гноем матах хрипели люди с распоротыми животами.

— У них, — сухо и отрывисто ответил он, — тоже будет

свой выбор.

Юрико посмотрела на свою форму. Пальцы её сами собой, с какой-то автоматической, домашней аккуратностью начали расправлять измятый матросский воротник, застёгивать уцелевшие пуговицы блузки. Это было невыносимо абсурдно: мир рушился, стены пещеры ходили ходуном от далёких ударов корабельной артиллерии, а они, как перед уроком каллиграфии, поправляли одежду. Рядом Мико, не проронив ни слова, прятала свою керамическую гранату в глубокий карман тёмных хакама. Белая лента в её волосах была серой от пыли, но завязана идеальным, правильным бантом.

— Пошли, — скомандовал сэнсэй.

И они побежали.

Выход из пещеры Ихамигама не просто выпустил их — он буквально выплюнул их наружу, прямо в разверзшееся, кипящее жерло ада. Небо над Окинавой не было синим; оно было цвета свернувшейся, запёкшейся крови, вспоротое чёрными столбами жирного дыма. Весь остров трясся, ходил ходуном под их босыми подошвами, словно гигантский раненый кит, которому всадили в спину тысячу гарпунов сразу.

Джунгли приняли их мгновенно, поглощая без остатка, как мутная вода поглощает брошенный камень. Воздух снаружи оказался плотным, горячим, как тропический бульон; он был настолько влажным, что блузка Юрико в секунду промокла, превратившись в тонкую, липкую плёнку, намерт-

во прилипшую к телу. Этот воздух пах гарью, кордитом, разорванной древесиной панданусов и сладким, удушливым, тошнотворным запахом гниения — запахом сотен тел, которые лежали в этих зарослях уже не первый день. Звуки разрывов сливались в один сплошной, гудящий металлический аккорд, от которого вибрировали зубы и кости.

Они бежали сквозь хаос зелени. Огромные листья папоротников, похожие на костлявые рёбра доисторических рыб, с размаху хлестали по лицам, оставляя липкие зелёные полосы. Время здесь потеряло свою линейность: оно то растягивалось, превращая каждый шаг в бесконечную вязкую пытку, то неслоьсь вскачь, путая вчерашний день, где ещё пели птицы, с сегодняшним, где не было ничего, кроме смерти.

Девочки рассыпались по зарослям, как жемчужины с порванной нити. Юрико видела, как впереди, метрах в двадцати, прямо на тропинке вспыхнул ослепительно-белый, беззвучный шар артиллерийского снаряда. Две бегущие фигурки в школьных юбках просто растворились в этой вспышке, вознеслись в зенит вместе со столбом красной окинавской глины, превратившись в пыль, в ничто, в миг чистого разрушения жизни. Юрико даже не успела испугаться. Она просто зафиксировала это глазами и побежала дальше, чувствуя, как две гранаты в карманах её хакама бьют по бёдрам — тяжёлые, ритмичные, как второе и третье сердце.

Они остановились только тогда, когда лёгкие начали гореть изнутри живым огнём, а воздух в груди стал похож на

толчёное стекло. Гул орудий здесь, на склоне холма, стал чуть глуше, завязнув в плотных зарослях баньянов.

Они остались одни. Только Юрико и Мико. Остальные силуэты растаяли в зелёном аду.

Тяжело, с хрипом дыша, Мико прислонилась к стволу дерева, из трещины которого медленно сочился густой белый сок, похожий на молоко. Её лицо было полностью покрыто чёрной копотью и грязью, и на этом страшном фоне белки глаз казались неестественно огромными, почти бездонными. Она сунула руку в карман хакама и медленно, словно не веря собственным пальцам, достала керамический шар гранаты.

Юрико замерла, прижавшись спиной к мокрому камню. Сердце стучало в самые уши.

— Мико, — чуть слышно прошептала она. Она знала, что сейчас должно произойти.

Нас же учили. Учили в школе, учили на плацу. Прижать к животу. Выдернуть чеку. Сильно стукнуть капсюлем о камень. Сделать это ради Императора. Сделать это, чтобы дьяволы не коснулись чистых блузок.

Мико долго, бесконечно долго смотрела на коричневую, запечённую глину в своей руке. В её огромных глазах не было ни фанатизма учителя, ни патриотического экстаза, ни даже страха. В них была странная, пугающая, взрослая прозрачность. Опустошение. Она вдруг коротко размахнулась — совсем не так, как учат солдат, а просто, по-детски — и бросила гранату. Не себе под ноги. Не в скалу. Она швырну-

ла её далеко в сторону, в густые, чавкающие заросли пандануса, в самую грязь.

Снаряд описал нелепую дугу, мягко шлёпнулся в жижу и исчез. Ни взрыва. Ни чести. Ни вспышки хризантемы. Просто кусок обожжённой земли вернулся обратно в землю. А следом за первой Мико вытащила и выбросила вторую.

Юрико смотрела на то место, где замкнулась грязь, и чувствовала, как внутри неё с оглушительным, стеклянным звоном лопается какая-то невидимая струна, державшая её всю жизнь. Мико повернулась к ней, протянула пустые, испачканные в копоты ладони и молча посмотрела в глаза. И в этом взгляде было всё: *мы просто дети, я отказываюсь, это не наша война, мы не будем этого делать.*

Юрико медленно, словно чужая рука управляла её телом, опустила пальцы в собственный карман.

Ладонь сомкнулась на шершавом теле керамической гранаты «Тип четыре».

И в этот момент мир вокруг неё словно затих. Юрико ощутила её всем своим существом, каждым микроскопическим рецептором кожи. Глина была увесистой, плотной и удивительно, нелепо тёплой. Но это было не тепло полуденного солнца из её сна и не тепло материнской руки — граната нагрелась от её собственного тела, впитала в себя жар её бешено бьющейся крови, её пот и её жизнь. На ощупь поверхность была пористой, неровной, со следами пальцев неизвестного мастера-гончара, который обжигал её в печи. На боку шара

Юрико явственно прощупала тонкий, острый шов от формы — он врезался в нежную кожу её ладони, оставляя глубокий след. Если чуть-чуть потереть пальцем, сухая, плохо обожжённая глина начинала крошиться, оставляя на подушечках пальцев мелкую, коричневую, пахнущую печью пудру. Тонкая трещинка проходила у самого основания запала — как линия жизни на руке, которая внезапно обрывается. В этой вещи не было ни стального величия, ни военной гордости. Это была просто мёртвая, холодная земля, которую упаковали в форму, набили взрывчаткой и заставили человеческое тепло работать на уничтожение. Эта глиняная гиря весила слишком много — она тянула её вниз, к могилам пещеры, к приказу учителя, к чужой, навязанной смерти.

Юрико вытащила руку из кармана.

Она поднесла гранату к самому лицу, в последний раз вглядываясь в её убогую, коричневую простоту, чувствуя, как пальцы сводит судорога от её веса. А затем — просто разжала пальцы. Без замаха. Без усилия.

Керамический шар глухо, с сухим стуком ударился о толстый корень баньяна, покатился по влажному, склизкому мху, пачкаясь в белом древесном соке, и затих в траве у её ног. Вторая граната отправилась вслед за первой.

Юрико почувствовала странную, оглушительную пустоту. Ладонь, которая только что сжимала смерть, осталась открытой, влажной от пота. На коже, прямо поперёк линий судьбы — от основания большого пальца до самого мизинца —

горели две багровые, вдавленные полосы от швов керамики. Они выглядели как шрамы. Или как новые, чистые дороги, которые ей только предстояло пройти. Рука ещё помнила тяжесть, мышцы ещё помнили форму шара, но в ней больше ничего не было. Она была пуста.

Мико шагнула ближе и взяла её за эту пустую, дрожащую ладонь. Молча. Крепко. Так, как хватаются за жизнь. Пальцы Мико были тонкими, сухими и горячими, и когда их ладони соединились, Юрико замерла.

Так они и стояли — две девочки в грязной школьной форме, с чистыми, пустыми руками на своём острове, посреди чужой войны. И ни одна из них не знала, что делать дальше.

А джунгли вокруг них продолжали жить своей огромной, равнодушной жизнью: капала вода, шуршали невидимые ящерицы в листве, и где-то фоном гудела земля от взрывов.

Глава 2. Лес

Утро пришло в джунгли не светом — тяжестью летнего зноя. Оно медленно, словно густой зеленоватый сироп, просочилось сквозь многоярусные кроны баньянов и криптомерий, принеся с собой вместо прохлады, удушливое, влажное испарение земли. Воздух здесь не двигался — он стоял, плотный, пахнувший забродившей листвой, раздавленными улитками, прелой корой и тем сладковато-тревожным тлением, которым пахнет лес, перекормленный смертью. Этот свет был скорее хлорофилловым, холодным, не солнечным; казалось, листва не пропускала лучи — она заменяла их собственным тусклым сиянием. Роса конденсировалась на всём — на папоротниках, на мокром мхе, на бледной коже и ресницах, делая мир глянцевым и ненастоящим, как сахарная глазурь на отравленном пирожном.

Мико проснулась от того, что по её щеке полз крупный чёрный муравей.

Она открыла глаза, дёрнулась, смахивая насекомое, и первое, что поняла — не разумом — затёкшим телом: левое плечо, которое всю ночь чувствовало чужой мир, теперь лежало на голой, холодной земле. Это ощущение внезапного одиночества было настолько неправильным, что Мико села сразу — рывком, без перехода от сна к яви. Сердце её колотилось от древнего, животного страха, какой бывает, когда просы-

паешься в незнакомом месте и не можешь вспомнить своего имени.

На месте, где спала Юрико, остался лишь отпечаток присутствия: примятая трава, ещё хранившая едва уловимое тепло, и два-три тёмных волоска, прилипших к мокрому стеблю папоротника. Юрико ушла.

Каждая мышца Мико помнила вчерашний бег, каждая кость ныла от падений, но она встала и пошла на звук — тихий, монотонный плеск воды. Она раздвинула тяжёлые, покрытые колючими ворсинками ветви кустарника и через двадцать шагов увидела её.

Юрико сидела на корточках у небольшой воронки, оставленной снарядами, возможно, неделю назад. Воронка успела наполниться чистой, но рыжеватой от земли водой, в чьём зеркале отражалось блёклое, выжженное небо. Ручей стекал откуда-то сверху, из-под камней, и был таким тонким — не шире детской ладони, — что казалось, воды нет, есть только её ритм и прозрачное движение.

Юрико мыла руку. Не руки — только левую.

Мико остановилась за её спиной, глядя на эти движения. Юрико мыла её тщательно, сосредоточенно, с какой-то одержимостью человека, пытающегося стереть не грязь — само воспоминание о прикосновении: тёрла подушечку большого пальца подушечкой указательного, круговыми, мелкими движениями, доводя кожу до глянцевого блеска. Кожа уже покраснела от трения, мелкие хлопья отмытого эпидермиса

уносились крошечными, безмолвными воронками воды.

Ветка хрустнула под ногой Мико. Юрико вздрогнула всем телом, словно от удара, и резко обернулась, пряча левую руку в складки грязной юбки-хакама. Быстро, рефлекторно. Так прячут то, что выдаёт тайну.

В этот краткий миг Юрико посмотрела на неё снизу вверх. И в этом взгляде — сквозь расширенные, испуганные зрачки и раздувающиеся ноздри — было столько беззащитной, суеверной жадности, что воздух между ними будто сгустился. Юрико смотрела на тональную линию шеи Мико, на то, как прядь коротких спутанных волос прилипла к её испачканной сажей щеке, на острую, хрупкую ключицу, видневшуюся в вырезе матроски. Для Юрико в этом утреннем, гниющем лесу не было ничего более осязаемого и важного, чем эта девочка. Сама мысль о том, что вчера всё могло кончиться — во вспышке белого фосфора или у бидона с отравленным молоком, — заставляла её сердце сжиматься до физической боли. Эта близость не нуждалась в именах и признаниях; слово разрушило бы её, превратило бы в уязвимую конструкцию посреди войны. Они запирали это чувство внутри грудных клеток, как птиц, которые должны молчать, чтобы их не обнаружили.

— Доброе утро, — сказала Мико. Её голос был ровным. Ровнее, чем следовало.

— Доброе, — ответила Юрико и попыталась улыбнуться. Улыбка вышла короткой и кривой, как надпись, сделанная

наспех на клочке бумаги.

Мико присела рядом на плоский мокрый камень, зачерпнула воду ладонью и сделала глоток. Вода пахла железом и прелыми корнями, от её холода заломило зубы, но эта нормальная, физическая боль возвращала реальность. Затем Мико протянула руку, перехватила левое запястье Юрико и мягко, но непреклонно разжала её кулак.

Поперёк ладони, прямо над линиями жизни и сердца, темнели два странных следа. Это не были ни порезы, ни воспалённые ожоги. Два тонких, идеальных коричневатых полумесяца были вдавлены в кожу так точно, словно кто-то приложил к ней крошечное, осмысленное клеймо. Они располагались друг против друга, как два глаза или как отпечатки двух чешуек неизвестного существа. Между ними кожа оставалась чистой, и обычные линии ладони шли своим чередом, словно не замечая этих знаков.

— Что это? — Мико нахмурилась, проводя подушечкой пальца по отметинам. От этого прикосновения по предплечью Юрико пробежала дрожь, которую она поспешно выдала за озноб.

Юрико сглотнула вязкую слюну. В её памяти мгновенно вспыхнуло сухое, палящее солнце из сна. Ослепительный изгиб клинка, трещина в древнем камне и почему-то, бьющийся в её ладони изумрудный, живой хвост ящерицы.

— Не знаю, — её голос дрогнул, и она настойчиво высвободила руку, пряча её обратно в пустой карман, где раньше

лежала граната. — Может... ожог. От гранаты. Вчера, когда учитель раздавал их, керамика была ещё горячей.

Мико промолчала. Она приняла эту ложь так, как принимают затяжной тропический дождь — как факт, как часть изменившегося мира. Ложь была нужна Юрико как щит, и Мико просто отложила вопрос на потом, на то время, когда правда сама выйдет наружу, как выходит заноза из заживающей раны.

— Пойдём? — тихо спросила Мико, вытирая мокрые руки о подол.

— Пойдём.

Они поднялись. Ноги были ватными, исцарапанными колючим кустарником до крошечных, запёкшихся полос. Время для них превратилось в «растительное время» — оно не имело циферблата, оно росло и тянулось, как лианы, заставляя их блуждать без цели и направления, превращая в призраков на собственном острове.

Двигаться на север, к своим, было смертельно опасно. Японская императорская армия, отступающая в агонии, была безжалостна. Любого, кто ушёл из госпиталя без письменного приказа, любого, кто сбросил медицинские повязки, офицеры с пустыми глазами и трёхдневной щетиной объявляли дезертирами и шпионами. «Вы из Химэюри? Почему у вас пустые руки?» — этот произнесённый вопрос стоял перед ними как расстрельная стена. Для своих они стали предательницами, не пожелавшими умереть красиво ра-

ди Императора.

Но и идти на юг, навстречу американцам, было невыносимо. О «длинноносых демонах» в пещерах рассказывали такое, от чего кровь стыла в жилах: огромные белоглазые существа, не знающие жалости, которые сдирают кожу и скармливают пленных собакам. Страх не нуждался в фактах — он питался неизвестностью, как плесень питается темнотой. Девочки оказались зажаты между двумя безжалостными жерновами: слепой, требующей самоубийства честью своих и мифическим ужасом чужих.

Вчера они наткнулись на грунтовую дорогу, развороченную гусеницами танков. Прячась в кустах, они часами наблюдали, как по ней шли серые, одинаковые силуэты. Земля гудела от их шагов, мелкие камешки подпрыгивали, как блохи. Юрико и Мико не дышали, сжавшись в комок, пока колонна не скрылась в мареве, и только тогда бросились в противоположную сторону — не потому что знали путь, а чтобы дорога их не догнала.

Ночью они нашли углубление между корнями гигантского дерева. Корни были толщиной в человеческое тело, образуя подобие норы. Они легли туда вплотную, согревая друг друга своими худыми, дрожащими от холода и пережитого ужаса телами. Юрико всю ночь не смыкала глаз, чувствуя запах волос Мико — запах копоты, сырой земли и ускользающего детства. Эта близость была единственным, что удерживало её рассудок от падения в бездну. Если бы мир кончился в

ту секунду, если бы джунгли сомкнулись над ними навсегда, Юрико знала: тепла этой руки, лежащей на её запястье, было бы достаточно.

Но утро наступило. И теперь они шли дальше.

Юрико шла первой, Мико — ровно в двух шагах за ней. Этот двухшаговый промежуток между ними жил собственной жизнью: он сужался на узких тропях и расширялся, когда бамбук расступался. В этом пространстве пульсировало всё то, о чём они молчали.

Они вышли на странную круглую поляну. Трава на ней росла неестественно ровно и коротко, словно на вытоптанном пастбище, а в самом центре лежал плоский серый камень. Он был настолько идеальной круглой формы, что не мог появиться здесь сам по себе; его словно положили намеренно, чтобы кто-то его нашёл.

Юрико остановилась, вглядываясь в серую поверхность. Камень напомнил ей что-то — нет, не напомнил, передал — какое-то незнакомое ощущение тепла и запаха полыни под пустынным солнцем. Но здесь не было полыни, только мох, трава и капли росы.

— Чего встала? — тихо спросила Мико сзади.

— Ничего, — Юрико тряхнула головой и пошла дальше.

Она не оглянулась и не увидела, что, как только они покинули поляну и зелёная чаща сомкнулась, на середину круглого камня выползла маленькая серо-коричневая ящерица с длинным, идеальным хвостом. Одиноким луч солнца, про-

бившийся сквозь плотный купол джунглей, упал точно на неё. Камень начал медленно вбирать в себя это тепло, и ящерица пила свет, живая и безразличная к войне, к гранатам и к уходящим девочкам.

— Нам нужна еда, — глухо произнесла Мико. — Я больше не могу. Меня тошнит от пустоты.

Голод перерос стадию обычного желания поест. Это был глубокий, животный спазм костей и мышц; тело Юрико буквально разбирало себя изнутри, сжигая последние ресурсы ради крох тепла. Голова кружилась постоянно, мир вокруг слегка кренился, а земля казалась зыбкой, как подтаявший лёд.

— Там, за холмом, должны быть деревни, — Юрико указала направление левой рукой, не вынимая её из кармана. — Маэхира или Аракаки. Там могли остаться заброшенные огороды. Мы найдём батат... хоть что-нибудь.

Слово «батат» подействовало как заклинание — во рту скопилась густая, вязкая слюна, а желудок отозвался болезненной судорогой. Они пошли по низине, стараясь держаться густых зарослей бамбука, чтобы их не заметили со стратегических высот.

Вскоре тропа вывела их к рубленой, грубой просеке. Пни вокруг успели обрасти белым ядовитым грибом, некоторые стволы были обуглены старыми пожарами. Но далеко впереди, у самого края зелёного массива, Юрико различила очертания соломенной крыши и покосившегося забора. А глав-

ное — воздух принёс запах.

Это был не пороховой, не кислый дым войны, а домашний, сухой дым очага. Дым горящих дров, несущий в себе обещание еды и тепла. От этого запаха у Юрико так сильно защемило под ложечкой, что она замерла.

Но остановилась она не из-за дыма.

Изменилась ощущение самого леса позади них. С самого рассвета у Юрико между лопатками зудело липкое чувство чужого взгляда, но теперь оно стало плотным, почти осязаемым. В воздухе, недвижимом и влажном, что-то сдвинулось. Это не был хруст упавшей ветки. Это был мягкий, аккуратный, но тяжёлый звук — так существо переносит вес своего тела на сырую, податливую почву.

Одинокий лист на нижней ветке хлебного дерева качнулся. Справа налево. Медленно, плавно. И замер. Ветра в джунглях не было.

Волоски на руках Юрико встали дыбом. Нить напряжения натянулась до предела. Лес больше не казался безразличным — кто-то шёл за ними след в след, дыша в такт их путающимся шагам, замирая тогда, когда замирали они. Кто-то прятался в этой непроницаемой стене папоротников, наблюдая за двумя уставшими девочками со спины.

Юрико медленно протянула руку назад и мёртвой хваткой вцепилась в плечо Мико, заставляя её остановиться. Пальцы левой руки в пустом кармане сжались в кулак, впиваясь ногтями в два таинственных полумесяца.

— Стой, — прошептала Юрико. Этот звук был едва громче биения её собственного сердца, стучавшего в ушах.

Мико не стала оборачиваться назад. Она инстинктивно подалась спиной к Юрико, прижимаясь к её плечу, ища защиты. Её губы дрогнули. Она прочитала всё по напрягшейся спине подруги — Мико умела читать Юрико лучше, чем та сама себя.

— Что? — едва слышно выдохнула Мико.

Юрико медленно, на долю сантиметра в секунду, повернула голову, вглядываясь в зеленоватый сумрак лиан, откуда они только что вышли. Тени там переплетались слишком правильно, образуя чужой, неподвижный силуэт.

— Кажется... — Юрико сглотнула сухой комок в пересохшем горле, не отрывая взгляда от колеблющейся тени. — Кажется, я кого-то видела.

Глава 3. Подсолнух

Тень шевельнулась.

Она шевельнулась не так, как обычно шевелятся тени: не плавно, не постепенно, не так, как ползёт отражение облака, проплывающего перед солнцем. Она двинулась рывком, одним коротким, мокрым толчком — так шевелится то, что дышит и решается наконец показаться. Папоротник — широкий, чешуйчатый, с краями, обрамлёнными почти чёрной бахромой, — качнулся, раскрылся, как зелёные пальцы, которые хотят посмотреть, но боятся быть увиденными. В образовавшемся проёме, на фоне хлорофиллового мрака, возник силуэт.

Юрико не дышала. Она не закрыла глаза, потому что хотела встретить смерть лицом к лицу. Пальцы её левой руки в пустом кармане впились в два мистических полумесяца так сильно, что из-под ногтей вот-вот готова была брызнуть кровь. Она ждала удара: всем телом, каждым нервом, каждой волосинкой на предплечьях. Ждала ствола винтовки — чёрного, круглого, безразличного. Длинного штыка, если это японец, или широкой, похожей на хлебный нож морды «томпсона», если это американец. Она ждала чужого голоса, чужого приказа на любом из двух языков, которые теперь значили одно и то же — конец.

Но ствол не появился. Из зелёного сумрака на раскисшую

почву тропы ступила крошечная, босая нога. За ней — вторая. На тропу вышло существо.

Маленькое. Вне времени.

Оно было таким перепачканным, таким неправдоподобно грязным, словно сам этот древний, гниющий лес породил его из сумерек, мха и влажных испарений. Ростом — чуть выше её пояса. В рваной хлопковой рубашечке на трёх пуговицах, которая когда-то была белой, а теперь стала цвета рыжевато-го пепла, цвета всего, через что это существо проползло за последние дни. Ниже пояса он был гол. Его тонкие ножки, покрытые царапинами, с потрескавшимися подошвами, напоминали хрупкие стебли упрямо живого растения.

Грязь на его лице была не просто грязью. Она была коркой, вторым лицом, наросшим поверх первого: слой за слоем — глина, копоть, засохшие слёзы. И сквозь эту броню проглядывали только глаза. Тёмные, круглые, мокрые глаза смотрели снизу вверх. В них не было ни страха, ни слёз — ничего, что должно быть в глазах шестилетнего мальчика посреди войны. В них было чистое, абсолютное, нечеловеческое внимание, с которым смотрит только ребёнок или лесной дух: без оценки, только взгляд, только «я вижу тебя».

Юрико выдохнула. Воздух выходил из лёгких медленно, и вместе с ним выходило напряжение последних дней — ожидание пули, штыка, конца. На их место хлынуло невыносимое, бьющее через край облегчение: не убьют.

Мико среагировала первой. Забыв о слабости, она просто

рухнула на колени прямо в жидкую грязь перед мальчиком. Опустилась так тихо, словно боялась, что от громкого звука этот лесной ребёнок рассыплется спорами папоротника.

— Привет, — сказала Мико. Голос её стал другим. Тёплым, мягким — так говорят с раненой птицей или вещью, которая может разлететься на куски, если дышать слишком сильно. — Привет, малыш. Мы не страшные. Нас зовут Юрико и Мико. Мы из школы... мы идём отсюда.

Мальчик не моргнул. Он рассматривал их измазанные блузки, исцарапанные ноги, мокрые волосы. Это было не детское любопытство, а скорее проверка: настоящие ли они? Живые ли? Стоит ли подходить?

Мико протянула руку. После секундного колебания маленькая, шершавая от земли ладошка легла в её ладонь. Он не взял её крепко, но и не отступил. Он просто решил стоять — рядом.

Юрико наблюдала за ними, и что-то внутри неё сжалось и расправилось одновременно. Мико, которая не опускалась ни перед кем, опустилась перед этим грязным ребёнком. И в её голосе была нежность. Но Юрико знала: нежность Мико не принадлежала кому-то конкретному. Она была её свойством, как свойством дерева является кора, а камня — мох. Эта нежность изливалась на мальчика просто потому, что Мико не могла иначе...

...Они шли втроём, ведомые единственным безошибочным компасом — запахом дыма. Он пришёл неожиданно:

сухой, домашний, пахнувший дровами, а под ним — что-то сладковатое, обжигающее ноздри. Запах настоящей еды.

Через сотню шагов джунгли расступились, обнажив выжженную рану земли. Деревня была пуста. Четыре или пять крестьянских дворов. От домов остались лишь чёрные, обугленные скелеты балок, торчащие в небо, как рёбра выброшенной на берег рыбы. Земля между ними была покрыта серым, влажным пеплом. Война прошла здесь, как слепой великан, растоптав всё, но оставив стеклянную, абсолютную тишину.

Но в одном из дворов, под рухнувшей навесом балкой, чудом уцелел каменный очаг — обычный окинавский тандор. Огонь в нём умер, но под толстым слоем белёсой золы, как сказочное существо, зарывшееся в землю, всё ещё пульсировал густой, малиновый жар.

Юрико опустилась на колени. Она нашла сухую палку и принялась разгребать золу. Палка наткнулась на что-то твёрдое. Из-под серых хлопьев выкатились округлые, приплюснутые, чёрные комочки.

Батат. Целая дюжина. Кто-то положил их печься в золу, но так и не успел съесть.

От них потянулся одуряющий запах карамелизованного сахара, мёда и горячей земли. У Юрико закружилась голова от чистого, звериного желания есть. Забыв осторожность, она голыми пальцами выхватила горячий клубень из жара. Кожа на подушечках мгновенно обожглась, но она не чув-

ствовала боли, перекидывая чёрный комочек из ладони в ладонь и обдувая его своим дыханием.

Они уселись прямо на землю вокруг очага, образовав свой собственный, тайный круг. Юрико надавила большими пальцами на обугленную корочку. Картофелина с сухим, ломким хрустом раскололась пополам. Вверх взвился густой пар.

Под мёртвой, сгоревшей коркой скрывалась ослепительная, влажная, золотая мякоть. Она была такой яркой, что казалось, в этом корнеплоде было спрятано всё солнце, которого теперь лишился их остров. Это не было едой. Это было причастием.

Они не набросились на картофель с жадностью, хотя желудки сводило судорогой. Юрико отломила маленький кусочек — не больше ногтя, чтобы не навредить голодавшему ребёнку, — и поднесла к губам мальчика. Тот открыл рот, как птенец. Положил кусочек на язык и замер. Его глаза расширились, челюсти начали двигаться неуверенно, вспоминая, как это делается. И губы его смазались золотом.

И мальчик улыбнулся.

Это было настоящее расцветание. Лицо-маска вдруг ожило, глаза сузились, и между испачканными губами показались молочные зубы — такие неправдоподобно белые и чистые посреди пепла, словно они светились изнутри.

Юрико разломила второй батат и протянула половину Мико. Их пальцы соприкоснулись на полмгновения, и в этом было больше, чем во всех несказанных словах: «бери»,

«ешь», «мы вместе».

Мико откусила. Горячий, медовый сок растёкся по её подбородку. Юрико смотрела, как она жуёт, закрыв глаза. На потрескавшихся губах Мико чёрная зола смешалась с янтарным соком батата. Эти два пятнышка — золото и пепел, сладость и смерть, жизнь и война — заставили сердце Юрико защемить. В этот момент лицо Мико развернулось навстречу теплу, словно она оказалась в месте, где больше нет пещер и гранат.

Юрико смотрела и не могла есть. У неё перехватило горло от невозможного, безмолвного созерцания: она сидела посреди разрушенного мира и смотрела, как ест тот, кого она любит. И этот момент был самым честным во всей её жизни.

— Ешь, Юрико, — тихо сказала Мико, открыв глаза.

И Юрико ела. Батат обжигал рот, прилипал к нёбу, пах землёй и дымом. Это была сладость того, что выжило, когда всё вокруг горело. Золотая мякоть падала в пустой желудок, тело вздрагивало, принимая тепло, и от этой болезненной, невыносимой радости у Юрико кружилась голова.

Когда с картофелем было покончено, мальчик облизал пальцы, посмотрел на Мико и вдруг заговорил. Голос у него был тонкий, но плоский, как бумага, с которой стёрли карандашные рисунки.

— Я Хината, — сказал он просто.

— Какое хорошее имя, — Мико ласково протянула руку и вытерла золотую крошку с его подбородка. Там осталось чи-

стое пятнышко, похожее на луну, пробившуюся сквозь облака. — Обращённый к солнцу. Подсолнух. Расскажи нам, Хината, где твоя мама?

Мальчик нахмурился, собирая рассыпанные картинки памяти.

— Мы шли по дороге. Было темно. Мама держала меня за руку крепко-крепко, — он сжал свой маленький кулачок, показывая. — А потом стало очень громко. Бабах! И огонь. Земля запрыгала. Мама упала и отпустила руку. И все побежали в траву. Я тоже побежал. Бежал, бежал... Сандалию потерял в грязи. Искал её, а потом мамы уже не было.

Он говорил об этом без слёз, как о факте погоды. К детской боли его разум ещё не подобрал слов.

— А папа? — тихо спросила Юрико.

— Папа далеко. На севере. Мама говорила — на севере. Я спал в джунглях под большим листом. Было холодно. А вчера увидел вас. Вы шли впереди, я за вами. Но подходить боялся. Вы были большие. И я думал... вы ругаться будете. Думал прогоните. Я грязный. Я штанишки потерял.

У Юрико защипало в носу, и она отвернулась к очагу. Этот ребёнок, потерявший всё в огненной мясорубке, больше всего боялся, что старшие девочки отругают его за неопрятность.

В этот момент на щёку Юрико упала капля. За ней — вторая. Воздух стал гуще, небо опустилось, и тропический ливень хлынул отовсюду сразу. Он падал сплошной отвесной

стеной, смывая гарь, прибывая к земле вонючий дым от сожжённых деревень и остужая раскалённый остров.

— Туда! — Юрико вскочила, подхватив Хинату на руки. Мальчик оказался неожиданно лёгким, словно птица, сделанная из тонких костей и перьев.

На краю двора стоял полуразрушенный сарай — бывший хлев для коз. У него обвалилась стена, но покатая соломенная крыша всё ещё держалась. Они влетели под навес в ту секунду, когда ливень превратился в ревущий водопад. Внутри пахло прелой соломой, шерстью и спасительной, обволакивающей сухостью. В углу обнаружилась куча старых циновок. Девочки сдвинули их вместе, соорудив тёплое подобие гнезда.

Стемнело мгновенно, будто кто-то просто выключил свет в мире. Но им не было страшно. Шум воды по крыше отрезал их от остальной земли, заглушил артиллерийскую канонаду с побережья и запер их в непробиваемом, уютном коконе.

Хината уснул почти сразу. Он свернулся калачиком, поджав колени к подбородку — так сворачиваются дети, привыкшие спать одни в темноте. Даже во сне на его губах оставались следы: золото и пепел.

Юрико лежала на спине, слушая воду. Джунгли вокруг меняли математику их существования.

Когда ты бежишь впереди страха, а сзади никого нет, мир — это туннель, и ты несёшься по нему, ожидая пули. Но теперь сзади спал ребёнок, а рядом была Мико. Их мир пере-

стал быть туннелем. Три точки образовали треугольник. Три ноги — это табурет, который не упадёт. И в его центре, образовался круг. А в круге уже можно дышать.

В темноте Юрико осторожно, вслепую, протянула руку и нашла пальцы Мико. Мико не спала. Она сжала её ладонь в ответ — крепко, переплетая пальцы.

Под крышей старого сарая, посреди истекающего кровью острова, было темно и сыро. Но для Юрико это место сейчас было самым светлым на земле. Желудок больше не был от голода, наполненный тёплой сладостью батата. Они были втроём. Они были сыты. И они были живы.

Она смотрела на Хинату — спящего, свернувшегося калачиком, с золотым пятнышком на нижней губе, и думала о том, что если бы мир кончился прямо сейчас, прямо в эту секунду, — если бы дождь залил всё, и джунгли сомкнулись, и земля раскрылась, то последним, что она чувствовала, была бы рука Мико и дыхание мальчика в темноте. И этого было бы достаточно.

Глава 4. Анатомия боли

Первое, что она почувствовала, была рука.

Не знакомая. Не та ладонь, которую она знала лучше всего на свете — тонкая, сухая, горячая, — не рука Мико. Эта рука была другой: крупной, тяжёлой, в плотной парусиновой перчатке. Она двигалась методично, профессионально, без колебаний и без жалости: вдоль рёбер, по бёдрам, по складкам грязной школьной юбки. Движения были функциональными. Рука проверяла. Рука искала скрытую угрозу — керамическую смерть, стальную сферу. Ей было всё равно, что чувствует тело под ней. У неё была задача.

Юрико распахнула глаза, готовясь закричать, но воздух застрял в горле.

Над ней, на расстоянии двух пядей, нависало лицо. И оно было чёрным. Не коричневым, не смуглым — глубоким, непроницаемым чёрным цветом, отливающим фиолетовой бронзой. Лицо было увенчано стальным шлемом в сетке, из-под которого выбивались жёсткие кудри. Белки глаз на фоне этой кожи казались невыносимо, пугающе белыми. Они смотрели на Юрико со спокойным, военным вниманием.

Юрико замерла, как бабочка на булавке. Чёрный человек перестал обыскивать карманы её хакама. Зубами он стянул перчатку за кончики пальцев, поднял обнажённый тёмный указательный палец и прижал его к своим губам.

Тише.

Этот жест, древний и универсальный, понятный до изобретения Вавилонской башни, пересёк океан между ними. Палец у губ означал «молчи», а «молчи» сейчас означало «ты ещё жива».

Солдат повернул голову к выходу из сарая и глухо произнёс на гортанном, лающем языке:

— *She's clean too.*

Юрико медленно села. Руки сами поднялись вверх — ладони раскрыты, пальцы растопырены и мелко дрожат.

В дальнем углу сарая, прижавшись друг к другу, сидели Мико и Хината. Мико обнимала мальчика, пряча его лицо у себя на груди, её глаза были пустыми от запредельного напряжения. Вокруг них замерли ещё трое в зелёных касках. Их винтовки смотрели в землю, но сами фигуры заполняли сарай удушающей тяжестью. Юрико смотрела на их лица — молодые, бледные, с каплями пота на переносицах. И сквозь шок она увидела главное: дьяволы боялись. Их плечи были напряжены, они всматривались в темноту углов так же затравленно, как и сами девочки.

Один из солдат, жуящий что-то невидимое, шагнул к остывшему очагу. Там, на куске черепицы, лежали два припрятанных с вечера батата — их утренний талисман. Солдат небрежно опустил винтовку и лезвием штык-ножа ткнул в картофелины. Обугленная корочка с треском лопнула, золотая мягкая мякоть вывалилась в серую грязь и остывшие

угли. Это было быстрое, бытовое разрушение их маленькой святыни.

Хината, увидевший смерть своего единственного завтрака, не выдержал. Он не закричал, но из его огромных глаз мгновенно, разом покатались крупные, горячие слёзы. Две чистые дорожки пробились сквозь корку пыли на щеках. Он смотрел на раздавленный батат с молчаливой, абсолютной потерей.

Солдат со штыком замер. Он перевёл взгляд с испорченного корнеплода на плачущего мальчика. Лицо американца — веснушчатое, с мягким пушком над губой — вдруг дрогнуло и растянулось в невероятно широкой, нелепой, белозубой улыбке. Это была смущённая улыбка человека, который не умеет обращаться с чужими плачущими детьми.

Он повесил винтовку на плечо, опустил на одно колено и откинул клапан тяжёлого брезентового вещмешка. Юрико следила за его руками, сжимая зубы. Солдат достал небольшую продолговатую жестянку цвета хаки с белыми буквами. *C-Ration, M-Unit*. Вставил крошечный ключ в паз на крышке и с металлическим хрустом завернул жестяную полосу.

По сараю мгновенно разнёсся густой, агрессивно-сытный запах тушёного мяса и овощей в плотном соусе. Это пахло чужой, сытой, недостижимой планетой. Рот Юрико мгновенно наполнился густой, горячей слюной.

Солдат протянул открытую банку Хинате.
— *Here, kid. Eat. Don't be afraid.*

Знакомые английские фонемы пробились сквозь пелену ужаса — в школе этот язык преподавали до того, как объявили языком врага.

— Он говорит... можно есть. Не бойся, — прохрипела Юрико. Голос был сухим и чужим.

Мико коротко кивнула. Хината принял банку маленькими грязными пальцами, вдохнул запах и начал есть. Он макал пальцы в соус, облизывал их, желеобразный бульон пачкал его подбородок, и в сарае стало слышно только его тихое, жадное, детское чавканье. Солдат с веснушками сидел на корточках и улыбался — теперь уже тепло и спокойно.

Их увели. Не грубо, но уверенно, жестами приказав идти по раскисшей тропе. Юрико шла и чувствовала себя персонажем чужого сна.

Вскоре джунгли расступились, и они оказались в расположении роты. Это был маленький, шумный муравейник из оливковых палаток, похожих на спрессованные облака, пары джипов, рычащей радиостанции, и резких запахов бензина, мокрой парусины и жжёного кофе. Меж палаток на носилках лежали раненые — от них пахло кровью и кислым потом боли. Проходившие мимо солдаты останавливались и просто смотрели на две невысоких фигуры в грязной форме Первой женской школы и мальчика, стоявшего с ними. Не враждебно. Не жалостливо. Просто смотрели, как смотрят на вещи, которые не поместились ни в одну категорию: не солдаты, не пленные, не беженцы, не дети, — что-то, чему нет названия,

чему нет места в уставе, чему нет инструкции.

Их посадили на деревянные ящики из-под патронов. К ним подошёл молодой сержант без винтовки. У него были высокие, рубленые скулы и тёмные, чуть раскосые глаза.

— Спокойно, всё хорошо, — сказал он на чистом, мягком японском языке, с лёгким книжным акцентом. — Меня зовут Рен Кимура. Я переводчик армии Соединённых Штатов. Бояться нечего. Мой отец с Гавайев, японец... ну, а мать — навахо. Это индейское племя. В общем, длинная история.

Рен посмотрел на Хинату, который всё ещё сжимал пустую жестянку. Переводчик достал из нагрудного кармана плоский прямоугольник в фиолетовой обёртке, развернул фольгу и протянул мальчику. Шоколад. Хината схватил его и с жадностью зверька впился зубами, пачкая щеки.

Но тут Рен Кимура протянул руку и мягко, но непреклонно забрал плитку изо рта ребёнка. Хината замер с открытым ртом. Юрико напряглась, готовая вскочить.

Переводчик не обратил на это внимания. Он аккуратно, со щелчком разломил шоколад по перфорированным линиям на равные части. И протянул один кусочек Юрико, а второй — Мико.

— Не забывайте про себя, — тихо сказал он. — Вы тоже ешьте.

Юрико положила кусочек на язык. В воздухе густо потянуло какао — запахом мира «до», запахом нормальности. Шоколад таял, заполняя рот горьковатой, обволакивающей

сладостью, и от этого тепла Юрико на мгновение показалось, что мир перестал быть разбитым на демонов и людей. Сладость была общей.

Рен достал маленький потёртый блокнот.

— Кто вы? Откуда?

Юрико проглотила шоколад. Ложь сейчас была бы карточным домиком.

— Мы... ученицы Первой школы. Были прикомандированы к госпиталю в пещере Ихамигама. Как медсёстры. Когда поступил приказ умереть, мы убежали. А мальчика нашли в лесу. Он потерял маму при обстреле.

Рен Кимура записывал её слова. Юрико видела его смуглую руку, выводящую угловатые, чужие знаки на бумаге. От этого её история переставала быть ночным кошмаром, превращаясь в документ. Свидетельство.

Переводчик закрыл блокнот, повернулся к подошедшему высокому офицеру с сигарой и быстро заговорил по-английски. Тот нахмурился, глядя на измученных девочек, затем указал на Хинату:

— *What about the kid?*

Юрико рванулась вперёд, почти выкрикнув переводчику в лицо:

— Он останется с нами! Мы его не отдадим. Мы за ним присмотрим!

Рен Кимура усмехнулся одними уголками глаз и перевёл. Высокий офицер пожал плечами, принимая простое логи-

стическое решение:

— *Fine. Tell them to get on the truck with our wounded. They were nurses, right? They can keep an eye on them on the way to the sorting camp. I need my medic here.*

Рен повернулся к девочкам:

— Офицер решил, что вас отправят в сортировочный лагерь на грузовике. Вы были медсёстрами, поэтому лейтенант сказал: «Они знают, что делать с ранеными». Поедете вместе с нашими. Заодно присмотрите.

Санитарный грузовик был закрыт плотным зелёным брезентом, сквозь вентиляционные щели лился свет — неровными полосами, похожими на струи дождя. Внутри пахло йодом, карболкой, запёкшейся кровью и тяжёлым, кислым человеческим потом.

Юрико залезла первой. Хината шёл за Мико, крепко держась за ткань её хакама.

Брезентовый полог сзади задёрнулся, окончательно отрезав мокрый тропический мир.

Кузов мерно раскачивался на разбитой колее. Вдоль бортов на носилках в два ряда лежали четверо. Четверо в зелёной форме. Когда глаза Юрико привыкли к полумраку, фигуры демонов исчезли. На носилках лежали крупные, очень молодые, испуганные парни.

У одного из них повязка на голове закрывала правый глаз, и сквозь марлю проступало густое, ржаво-красное пятно — точно такое же пятно расцветало на рубашках японских сол-

дат в пещерах. Другой раненый, с загипсованной рукой, лежащей под нелепым углом, дышал хрипло, со свистом, побелевшими пальцами сжимая край брезента. Третий неподвижно смотрел в потолок кузова, и в его зрачках отражалась та самая конечная, бездонная усталость, которая не имеет национальности, языка или формы лица.

Раненый с повязкой на глазу повернул голову. Он долго, непонимающе смотрел на три фигуры в грязной школьной форме. Грузовик сильно подпрыгнул на ухабе, американец поморщился от вспышки боли, поймал взгляд Юрико и... криво, слабо улыбнулся ей. Словно извиняясь за то, что лежит здесь и пугает их.

Сосед его, парень с гипсом, медленно поднял здоровую руку и слегка помахал ладонью.

Юрико смотрела на эту извиняющуюся улыбку сквозь гул мотора. В её ушах всё ещё звучали крики из пещеры и приказы учителя, но перед глазами была только чужая испачканная щека и дрожащие губы. Она не улыбнулась в ответ — для этого внутри ещё ничего не ожило. Но она шагнула вперёд, наклонилась над носилками и аккуратно поправила серое шерстяное одеяло, сползшее с плеча раненого американца. Тот тихо выдохнул и закрыл глаза.

Кузов раскачивался, колеса стучали по грязи, и этот ритм стал похож на раскачивание колыбели, увозящей их в полную неизвестность.

Юрико сидела на полу, Хината спал у неё на коленях,

уткнувшись носом в ткань. Мико пристроилась рядом — плечо к плечу, — и её тепло возвращало Юрико ощущение реальности. Они ехали.

Втроём.

Глава 5. Струна

Сон пришёл среди белого дня, посреди удушливого полуденного оцепенения лагерного муравейника, сквозь гудение мух, скрип тачек и лязг жестяных вёдер. Это было не засыпанием — падением: в одно мгновение над головой колыхалось белое полотнище американской палатки, а в следующее — Юрико уже ослепило совсем другое солнце. Древнее, злое, палящее солнце, которое помнило мир молодым.

В этом пространстве она была двоилась. Юрико-школьница лежала на циновке в лагере Симабуку, чувствуя, как полумесяцы шрамов на её ладонях пульсируют в такт сердцу. Но одновременно она была ей — повзрослевшей девочкой из чужого мира, чьё тело стало тяжелее, сильнее, угловатее. Юрико чувствовала, как горячий, сухой ветер обжигает её кожу, а грубые кожаные ремешки сандалий до крови натирают ступни.

Они стояли на плоской крыше, возвышающейся над огромным городом из слепяще-белого камня. Город ликовал. Воздух был пропитан запахами жареного мяса, благовоний и свежей, ещё не успевшей остыть крови. Улицы, зажатые между каменными стенами, бурлили. Тысячи людей кричали, плакали и обнимались в каком-то страшном, иступлённом восторге.

Внизу, на круглой площади у высохшего каменного бас-

сейна, лежали мертвецы. Их было немного — пять или семь тел. Юрико не знала, кто они. На них была странная одежда из толстой кожи с железными пластинами, а на головах — круглые шлемы с алыми щётками на макушках. Они напоминали воинов с древних потемневших картинок, которые Юрико видела в школе: похожие на самураев, но другие. Чужие. Панцири их были смяты, мечи сломаны, а кровь лениво текла по белым плитам.

К ней обернулся отец. Его лицо, высушенное пустынными ветрами, сияло жуткой, торжествующей радостью. Руки, помнящие тяжесть оружия, он воздел к небу.

— Мы очистились! — закричал он, и рёв толпы подхватил его голос. — Скверна смыта с камней. Мы снова чистые! И теперь придёт Тот-кто-обещан. Скоро придёт Мессия!

Он шагнул к ней и разжал ладонь. На мозолистой коже лежали плоские серебряные монеты. На металле была выбита чаша и колючие, угловатые знаки чужого, малопонятного алфавита, вырезанные с яростью и гордостью.

— Смотри, — отец трясся от переполнявших его слов. — Здесь выбито: «*Херут Цион*». Мы свободны!

Юрико смотрела на его сияющее лицо, и в её груди — чужой и одновременно собственной — зашевелилась тихая, глубокая, необъяснимая тревога, которая не имела слов, но имела — вес: тяжёлый, давящий, как камень. А в этом ликующем крике отца, рёве толпы, ей послышался другой, тихий голос. Тот самый, из известняковой пещеры Ихамигама,

когда учитель раздавал им гранаты и говорил про дочерей Императора.

И она подумала — она, не Юрико, а та другая, та, чьё имя было Тамар, — она подумала: очищались ли те, кого я видела мёртвыми? Они тоже были чистыми, когда шли сюда. Они тоже верили, что их бог прав. Их тоже любил их отец.

Те, на площади, в железных доспехах жуков — разве они не верили, что их бог прав? Разве их не любили их отцы?

Но она промолчала. Отец дёрнулся, серебряная монета соскользнула с его пальцев и со звоном покатилась по каменной ступени.

Дзынь.

Юрико открыла глаза.

Звон продолжался, резонируя в горячем воздухе лагеря.

— Держи крепче, Хината, — негромко сказала Мико. — Если гриф будет шататься, медная проволока просто перетрётся о край.

Белый каменный город исчез. Вместо него до самого горизонта простиралось брезентовое море Симабуку — лагеря для гражданских лиц, куда американские грузовики ежедневно свозили выживших со всего юга острова. Лагерь жил по законам оборванного ритма. Здесь пахло солёной рыбой, хлорной известью, сухим молоком и грязью. Время застряло где-то в конце июня 1945 года.

Дзынь.

Мико снова ударила большим пальцем по натянутой стру-

не. Струной служил кусок медной проволоки, вытащенной из разбитого полевого телефона; грифом — обломок доски от снарядного ящика, а резонатором — пустая оливковая банка из-под американской тушёнки с аккуратными белыми буквами.

Это был канкэра-сансин. Музыкальный инструмент — инструмент отчаяния, окинавская лютня, рождённая из мусора, жести и войны. Звук его был дребезжащим, тонким, немного гнусавым, но это был живой звук. И это была музыка. Настоящая музыка.

Потому что этот звук — звук пустой консервной банки с тремя кусками медной проволоки — был звуком мира. Мира, который существовал до пещеры, до гранат, до войны, — мира, в котором был праздник, и сансин, и ночь, и сверчки, и звёзды, — и этот мир не кончился. Он прятался. В банке. В проволоке. В пальцах шестилетнего мальчика.

К вечеру было сделано шесть сансинов.

Мико делала их быстрее и точнее, чем Юрико: её руки были привычнее к работе — к бинтам, к ножницам, к тому, чтобы делать что-то маленькое и точное посреди хаоса, — и банки под её пальцами превращались в инструменты с какой-то домашней, привычной ловкостью, как превращаются вещи в руках того, кто умеет создавать порядок из беспорядка.

Дети приходили на звук.

Вечером, вокруг Мико, прямо в лагерной пыли, сидели

уже около двадцати детей. Грязные, худые, в оборванной одежде, некоторые с серыми армейскими бинтами на головах, они смотрели на консервные банки так, словно в них пряталось солнце. Шестилетний Хината сидел ближе всех, ревниво вцепившись свободной рукой в складки хакама Мико.

А в лагере говорили разное. Новости перетекали из палатки в палатку быстрее, чем двигались американские патрули. Вчера джипы привезли полковника Яхару — единственного выжившего офицера из высшего штаба. Сами генералы Усидзима и Тё совершили ритуальное харакири в пещерах Мабуни. Японский гарнизон сдался. Официально войны на острове больше не было, хотя где-то в горах и джунглях ещё гремели выстрелы — там прятались те, кто отказывался верить в смерть Империи.

Прежний мир рухнул, но в десять утра американцы всё равно выдавали рис по карточкам, а раненые на носилках продолжали стонать. Жизнь приспособлялась к пустоте.

Женщина с красным крестом на рукаве пришла к ним через несколько дней.

Она была не старой и не молодой: лет сорока, может быть, сорока пяти, с лицом, высушенным солнцем и слезами до пергаментной прозрачности, — и глаза её были тёмными, глубокими, с морщинками на внешних уголках, и эти морщинки были не от смеха, а от того, что она слишком часто шурилась, глядя на солнце, или на огонь, или на пустоту.

Она стояла перед Юрико и Мико и смотрела — оценивающе, спокойно, как смотрят на вещь, которую хотят использовать.

— Вы из Химэюри? — спросила она уставшим голосом.

— Да, — ответила Мико.

— Вы были медсёстрами?

— Да.

— У вас есть опыт обращения с детьми?

Они промолчали.

— Американцы решили занять вас делом, — продолжила она. — Организуйте детей. Сделайте что-то вроде школы, чтобы они не путались под колёсами машин.

Мико посмотрела на Юрико. Юрико посмотрела на Мико. В этом взгляде было — всё: и «мы не знаем», и «мы — сами дети», и «но что-то нужно делать», и «Хината — жив», и «мы справимся», — и всё это было сказано без слов, потому что между ними не нужны были слова.

— Мы... — начала Мико. И остановилась. Потому что Хината, стоявший рядом и державшийся за край её хакама, поднял голову и посмотрел на незнакомую женщину — огромными, круглыми, чёрными глазами, — и в этом взгляде было не боязнь — защита: он защищал Мико. Маленький, молчаливый — он защищал свою Мико от чужой женщины, которая задаёт слишком много вопросов.

— Мы попробуем, — сказала Юрико.

И они сделали. Первую школу под открытым небом на

пыльном пяточке между палатками.

Сначала они ели.

Не лагерную кашу, не рис, не рыбные консервы, — а то, что Юрико и Мико собирали по вечерам: жареные зёрна арахиса, выменянные на лагерной кухне, сушёные бананы, ку-сочки сахарного тростника, — и они раздавали это детям, и дети ели, и от еды их глаза менялись: не становились радостными, не становились счастливыми, но останавливались. Переставали скакать, метаться, искать опасность. Останавливались и смотрели на то, что перед ними.

Потом канкэра-сансин.

Юрико показывала: как натянуть струну, как прижать, как тронуть. И дети — один за другим, неуверенно, тихо трогали. И улыбались. Не так, как улыбается Хината: широко, до зубов, — а иначе: углами рта, одними углами, — как улыбаются те, кто забыл, как это делается, и теперь вспоминает.

Потом английский.

Одно слово. Каждый день — по одному слову. Юрико писала его на банке (буквы были кривыми, торчащими, как палки в пожаре), и дети повторяли — хором, тихо, неуверенно.

— Повторяем за мной, — говорила она. — Хэлло.

— Ха-ро-о... — нестройно, как испуганные воробьи, отзывались дети.

— Сэнк ю.

— СЭН-кью...

— Ай эм хангри.

— Ай эм хан-гу-ри, — повторил хором лагерный класс.

И в этой сцене было что-то нелепое и страшное. Дети Окинав, чьи дома сгорели, сидели в пыли под палящим солнцем и хором, нараспев, словно молитву, повторяли фразу «Я голоден» на языке людей, которые ещё вчера были для них дьяволами. Но в этом заклинании заключалась великая магия выживания: ребёнок, который мог сказать солдату у грузовика «Ай эм хангри», получал галету или кусок шоколада. Девочки учили их жить в новом мире, где больше не было Императора, но были джипы, консервы и хлеб.

После английского наступала очередь букв. Мико рисовала их кусочком угля на обратной стороне снаряжных ящиков. А, И, У, Э, О... Дети повторяли звуки, и от этого простого «А» мир вокруг словно становился чуть прочнее. Ведь мир — это когда ребёнок учит азбуку, и от этого ничего не взрывается.

Потом была арифметика. два пальца и три пальца — это пять пальцев. Пять консервных банок, сложенных в ряд. Пять бананов. Пять шагов до учителя. Пять — это число, и число — безопасно, потому что число не стреляет.

А под конец Юрико доставала кусок серого упаковочного картона. Огрызком карандаша она рисовала на нем длинную, изогнутую линию, похожую на стебель бамбука или ползущего червяка.

— Это наш остров, — тихо говорила она, и дети затиха-

ли. — Вот здесь, на самом юге — мы. Это Симабуку. А вот здесь... — её палец замирал над пустой серой поверхностью картона.

Там, за холмами, всего в нескольких часах пути, лежали их родные деревни. Мавасиасато. Наха. Сюри.

Ни Юрико, ни Мико ни разу с момента выхода из пещеры не произнесли вслух слов «мама», «папа» или «дом». Эти слова были слишком опасными. Пока они оставались неназванными, их близкие пребывали в хрупком состоянии лагерной надежды — они не были ни мёртвыми, ни живыми. Они просто ждали, когда кто-то вернётся на пепелище и проверит. Что осталось от их домов? Обгоревшие балки? Черная зола?

Дети смотрели на серый картон и молчали. В этом молчании не было непонимания — в нем была общая, взрослая, непереносимая тоска по местам, которые теперь превратились в карандашные контуры.

И в этот момент, чтобы заглушить эту тишину, Мико снова ударила по медным струнам канкэра-сансина, задавая быстрый, синкопированный островной ритм. Дети подхватили его, затопали грязными ножками, и дребезжащий звук пустых банок заполнил палатку, возвращая им право на игру. Право на то, чтобы быть детьми.

Вечером, когда воспалённое красное солнце опустилось за колючую проволоку, лагерь затих. Зажглись редкие огни патрулей.

Юрико сидела на краю циновки. Хината уже спал у неё на коленях, тяжело дыша во сне и крепко сжимая её палец своими маленькими ручками. Мико сидела рядом, штопая разорванный подол школьного хакама нитью, выдернутой из стропы американского парашюта.

— Знаешь, — тихо сказала Мико, не поднимая глаз от работы. — Струна на сансине завтра лопнет. Она совсем перетёрлась о край жести. Нужно будет завтра попросить у мистера Кимуры новую проволоку.

Юрико поднялась с циновки и подошла к ней. Та подняла на неё глаза и улыбнулась — мимолётно, устало, и немного грустно. У Юрико сладко и больно потянуло в груди. Ей невыносимо хотелось сесть рядом, коснуться плеча Мико, забрать её у этих детей, уйти вдвоём туда, где их не найдут. Но Хината был везде.

Мальчик стал их общей тенью. Он спал между ними, утыкаясь носом в бок Мико, ел из их котелка, ходил за ними шаг в шаг. По ночам Юрико до боли сжимала кулаки в темноте палатки, слушая его мирное сопение. Он забрал у неё Мико. Забрал возможность поговорить, прижаться, просто побыть наедине после всего ужаса джунглей. Разделив их тишину на троих. Но злиться на него было невозможно. Он защищал их так, как умел — не отпуская ни на секунду.

И всё же, когда она говорила о проволоке, Юрико слышала другое: завтра будет день. Мы проснёмся, нам нужна будет струна, и мы будем играть.

Это было её обещание жизни...

Юрико ничего не ответила. Она просто опустила свободную левую ладонь на тёплую землю между ними. Мико, не прекращая шить, мимолётно, едва весомо, накрыла её пальцы своей рукой. Касание длилось всего секунду, но в этой секундной близости, посреди брезентового города и чужой земли, было больше тепла, чем во всей Империи.

Позже, когда Мико легла и укрыла Хинату краем одеяла, Юрико долго смотрела в темноту потолка.

Маленькие шрамы-полумесяцы на её ладони мягко, едва заметно ныли. Она знала, что ночью Тамар снова придёт. Она увидит древнюю девушку, стоящую на каменной стене, смотрящую на костры чужих армий в долине. Юрико не понимала, почему их судьбы переплелись сквозь тысячи лет, но чувствовала: та, другая девочка на своей стене, так же, как и она сама, смотрит в темноту и ждёт рассвета.

Глава 6. Стена бумажных птиц

К концу второй недели лагерь Симабуку обрёл свою устойчивую, пугающую географию. В центре, где когда-то была размытая дождями бурая окинавская глина, теперь белела раздаточная площадь — здесь всегда пахло хлорной известью, ржавым железом и сладким порошковым молоком. От площади правильными лучами расходились «улицы», образованные бесконечными рядами зелёных брезентовых палаток.

У каждого сектора был свой ритуал, своя иерархия и свой звук. У медицинского тента пахло йодом, гангреной и смертью; там на носилках лежали те, чьё выживание американские врачи измеряли часами. В северной части лагеря, где обосновались рыбаки и старики из разрушенной деревни Итоман, по вечерам монотонно, как прибой, бубнили буддийские поминальные молитвы. А здесь, на южной окраине, между полевой кухней и складом инженерных запчастей, звенел канкэра-сансин Мико, и сорок сиротских голосов хором выкрикивали чужие, угловатые слова.

Утро лагеря начиналось в шесть с тягучей очереди к водопроводной колонке. Вода шла солоноватая, тёплая, но женщины и дети стояли за ней часами, бережно держа алюминиевые вёдра. В семь — раздача серой клейкой каши. В восемь — проверка, когда американские патрульные обходили

ряды, считая головы и сверяя списки, словно пересчитывали уцелевший скот. А в девять начинались занятия.

Этот хрупкий, выстроенный из жестяных консервных банок и английских фраз мирок был прерван новым звуком.

Тук. Тук-тук. Тук.

Не тот стук, к которому привыкли уши Симабуку — не хлопанье штормового брезента, не лязг баков, — а частый, сухой, деревянный. Молоток. Настоящий железный молоток с деревянной рукояткой. Этот звук был таким домашним, таким мирным и оттого невозможным посреди лагеря, что дети на циновках разом замолчали и повернули головы — как стая птиц — в сторону площади.

Там четверо американских солдат в зелёных рубашках с закатанными рукавами вкапывали в землю тяжёлые деревянные столбы. К столбам они методично, с весёлым переключением, прибивали широкие, гладкие, свежеспиленные доски. Щиты. Десять. Двадцать. Тридцать... Белые деревянные стены, пахнущие свежим деревом и влажным лесом. Они выстроились длинным ровным рядом вдоль всей площади, и от их чистой, нетронутой белизны веяло чем-то пугающе новым. В лагерном воздухе появилась возможность.

Кимура сидел на перевёрнутом деревянном ящике из-под патронов, положив блокнот на колено, и смотрел. Не на солдат. Не на щиты. На них.

Для Рена эта война давно превратилась в сюрреалистическое погружение в ад чужого, разорванного сознания. Он

был нисей — *хафу*, *полукровка*, из Сакраменто — человеком, застрявшим между. В Америке мальчишки обзывали его «япошкой», а в лагере военнопленных японские офицеры плевали ему под ноги, считая предателем крови. Его мать дома всегда говорила на языке, которого отец стеснялся, и молилась в подушку. Из этого вечного одиночества Рен научился главному — смотреть и замечать то, что пропускали другие.

Каждый день через его переводы проходили тысячи трагедий, но эти две девочки из отряда «Химэюри» заставили его сердце сжаться иначе.

Мико пугала его. В ней была сталь — та самая абсолютная, непреклонная выправка, о которой трубили имперские газеты, но направленная не на красивую смерть, а на яростное, упрямое выживание. Она двигалась ровно, её спина была бастионом, защищающим её маленькую школу от всего мира. Она была крепостью без единой видимой трещины.

А Юрико... Юрико была другой. Рен ловил себя на том, что его взгляд неотрывно следует за ней, как только штабной джип въезжает в южный сектор. В Юрико не было этой деловитой брони. Она двигалась неуверенно, суетливо, словно боялась занимать собой пространство, словно постоянно пыталась стать незаметной, уберечь какую-то внутреннюю, звенящую хрупкость. Тёмные спутанные волосы, тонкие запястья, бледная ключица, выступающая из-под вороха застиранной школьной формы... Она казалась Рену стеклянным

колокольчиком фурин, который чудом уцелел в эпицентре тайфуна. В её беззащитности была красота открытой ладони — честная, раненая, не умеющая прятать боль, — и сильная. И ему, до боли, до стиснутых зубов, захотелось подойти к ней. Не потому что она была красивой — он видел красивых женщин в Сакраменто, в Сан-Франциско, в госпиталях. И не как сотруднику, младшему офицеру американской армии, а просто — подойти, откинуть упавшую на лицо прядь волос и сделать что-то, что заставило бы её тонкие губы дрогнуть в улыбке.

Рен вытащил из кармана длинную сухую травинку и принялся машинально вязать из неё сложный индейский узел, которому в детстве его научила мать. Это помогало унять дрожь в пальцах.

Он поднялся, подошёл к девочкам и протянул Мико катушку от полевого кабеля, на которую было намотано несколько метров отличной медной проволоки:

— Вот. Для ваших инструментов.

Затем Рен повернулся к Юрико. Расстегнул нагрудный карман рубашки, достал блокнот, аккуратно вырвал несколько чистых, ослепительно-белых листов и протянул ей вместе с карандашом.

— Что это, господин Кимура? — тихо спросила Юрико, глядя на бумагу с непонятным страхом.

— Это доски объявлений, — Рен указал на деревянные щиты, где солдаты уже заканчивали прибивать подпорки. —

Командование разрешило ставить их во всех секторах. Вы можете написать свои имена. И имена тех, кого вы ищете. Если кто-то из ваших близких выжил в других лагерях — они увидят. Это... это как бумажные кораблики, Юрико-сан. Или как птицы. Вы выпускаете их в океан и не знаете, долетят ли. Но не выпускать нельзя.

Написать имя. Для Юрико это был самый страшный момент с того дня, как она выбросила гранату под корни баньяна.

Пока имена её матери, брата Сомы и отца оставались произнесёнными, они находились в состоянии запутанной, благостной неопределённости. Они жили в её памяти целыми и невредимыми. Написать их на доске означало запустить безжалостный механизм реальности. Означало признать: они потеряны, мир разрушен, и, возможно, проверять пепелище будет уже некому. Написать — значит дать миру возможность разбить тебя окончательно.

Мико была бледной, как лагерная известь. Рука её дрожала, но она взяла карандаш и быстро, чётким, почти учительским почерком, учитывая каждый штрих, вывела на клочке бумаги:

«Нисида Мико. Первая женская школа. Жива. Ищу семью».

Юрико сглотнула сухой ком в горле. Карандаш казался тяжёлым, как орудийный затвор. Пальцы не слушались, грязь на запястье смешивалась со свежим потом. Она прижала

лист к гладкой сосновой доске щита и написала:

«Накаяма Юрико. Первая женская школа. Жива. Ищу мать и брата Сому. Отец — не знаю».

«Отец — не знаю». Два слова, под которыми лежала бездна. Не «погиб», не «пропал», а именно это повисшее между небом и землёй «не знаю», которое было хуже любой определённости.

Они были далеко не первыми. Белые щиты уже пестрели клочками бумаги, обрывками американского картона, лоскутами от нательных рубаш. На них углём, карандашом или выжатым соком ягод были выведены имена. «Высокая женщина с родинкой на щеке», «Мальчик пяти лет, без левой руки», «Ищи нас в секторе Б». Вся эта огромная стена шелестела на тёплом ветру, словно гигантское живое существо, сотканное из надежды и ужаса. Десятки, сотни, бумажных птиц, приколотых гвоздями к деревянному плоту посреди равнодушного океана. И каждое описание было портретом: маленьким, неровным, написанным любовью на куске дерева, — и каждый портрет кричал: ты жив? ты здесь? отзовись.

Мико отошла чуть назад. Юрико стояла, не в силах оторвать взгляд от своей записки, и вдруг почувствовала, как по щекам беззвучно, горячо потекли слезы. Она не всхлипывала — просто дорожки чистой воды прорезали лагерную пыль на её лице. Ей было невыносимо стыдно за свою слабость перед Реном, перед Мико, перед спящим лагерем.

Рен Кимура сделал шаг к ней. Его голос звучал ровно,

профессионально — как голос переводчика, но в глубине его вибрировало что-то совсем иное:

— Не переживайте, Юрико-сан. Война скоро закончится. Кордоны снимут, и вы сможете вернуться домой.

Он запнулся, всматриваясь в её мокрые глаза, в пульсирующую венку на виске, и добавил тихо, по-человечески:

— Если дом ещё есть.

И замолчал.

— Дома нет, — Юрико наконец вытерла щёку тыльной стороной ладони. — Наша деревня Мавасиасато... она сгорела. Ничего не осталось.

— Я знаю, — мягко ответил Рен, отводя взгляд, чтобы не выдать себя.

— Вы найдёте их. Или они найдут вас. А если нет... Пусть это будет другой дом. Тот, который вы постройте сами.

Он резко развернулся и пошёл к штабному джипу — высокий, в чужой форме, но больше не страшный.

Мико подошла к Хинате. Мальчик стоял рядом, босой, в своей неизменной рубаше на трёх пуговицах, и заворожённо смотрел на шелестящие записки. Он ещё не умел толком читать, но его детское, чуткое сердце понимало всё.

— Хината, — Мико мягко присела перед ним на корточки. — Хочешь, мы тоже напишем твоё имя? Имя твоей мамы?

Мальчик долго смотрел на колышущуюся бумажную стену. Его губы дрогнули, он крепко покусал нижнюю губу, а

потом медленно покачал головой.

— Нет, — сказал он совсем тихо.

— Почему, Хината?

— Потому что... если мы напишем, а мама не придёт... — он сглотнул, пряча глаза, — тогда будет так, как будто я её совсем потерял. Насовсем. А пока здесь не написано — я её не терял. Она просто далеко. В джунглях. Она придёт.

Мико замолчала. Юрико прижала ладонь к губам. Бумажные птицы на стене продолжали шуршать под порывами ветра, словно дышали.

Юрико обернулась, чтобы позвать Хинату обратно к циновкам, но её взгляд наткнулся на нечто тяжёлое.

Метрах в десяти, у больших лагерных котлов с водой, стояла группа женщин из северных секторов. Они не двигались. Их лица, иссушенные солнцем и горем, были серыми, а взгляды — неподвижными и холодными. Женщины шептались, прикрывая рты ладонями, и в этих взглядах не было ни жалости, ни благодарности за то, что девочки учат сирот.

Там было другое. Хлёсткое, липкое презрение.

Юрико физически почувствовала этот взгляд спиной — точно так же, как чувствовал преследование чужого зверя в джунглях Ихамигама. Она почти слышала их змеиный шёпот: «Химэюри... Чистые дочери Императора должны были остаться в пещерах. Все порядочные ученицы подорвали себя гранатами или сбросились со скал. А эти выжили. Сбежали. И теперь улыбаются длинноносым демонам, берут у них

чистую бумагу, едят их шоколад. Предательницы».

Юрико повела плечами, словно от внезапного сквозняка. Хината, мгновенно уловив её движение, бросил своё пайковое печенье, подбежал и крепко, изо всех сил обхватил её ноги своими худыми ручонками. Он сердито, исподлобья зыркнул на шепчущихся у котлов женщин, закрывая собой свою Юрико.

Юрико положила ладонь на его жёсткий вихор. Мико тоже видела эти взгляды, но её лицо оставалось безупречной, бесстрастной маской. Она выпрямила спину ещё сильнее и ровным шагом пошла к палатке.

Вечером воспалённое, багровое солнце опустилось за ряды колючей проволоки. Лагерь погрузился в зыбкие сумерки.

Юрико сидела на краю циновки. Хината уже спал, по привычке уткнувшись носом в её хакама и крепко, до белизны в суставах, сжимая её указательный палец своей маленькой ладошкой. Мико сидела рядом, плечом к плечу. В темноте её силуэт казался вырезанным из чёрного дерева. Она, как всегда, штопала разорванный подол юбки ниткой, вытянутой из стропы американского парашюта.

— Я написала записку, — прошептала Мико, не поворачивая головы. — И мне... мне очень страшно, Юрико.

Юрико промолчала. Против такого страха слов не существовало. Это был их общий страх — один на двоих, одинаковой температуры и глубины.

Вместо ответа она положила свою свободную левую руку на тёплую, пахнущую пылью землю перед ними. Мико не подняла глаз, её пальцы продолжали мерно двигать иглу, но через мгновение её ладонь — тёплая, с жёсткими мозолями от стирки — мимолётно, невесомо накрыла пальцы Юрико.

Всего на секунду. И её рука перестала дрожать.

Далеко на площади ветер трепал тысячи приколотых листков. Белые щиты стояли в темноте, как паруса кораблей, застрявших в гавани на краю света. Бумажные птицы шуршали, переговаривались обо всех, кто погиб, и обо всех, кто уцелел, и от этого шуршания лагерная ночь на одно короткое мгновение стала чуть тише.

Глава 7. Новая кожа

К концу июля лагерь Симабуку научился дышать.

Не так, как дышат здоровые люди — ровно, глубоко, не замечая собственного дыхания, — а так, как дышит тяжело раненое, но выжившее существо: с хрипами, долгими паузами, подёргиваниями брезентовых крыш, но живое. Июль перевалил за середину, и лагерь перестал быть временным пристанищем, превратившись в огромный, пыльный, живущий по своим суровым законам город. Жара стояла такая плотная, что воздух над палатками дрожал, искажая очертания водонапорных вышек.

Но в этой удушливой пыли проступал распорядок. Рис выдавали вовремя. Вода текла из колонок — солоноватая, с привкусом ржавчины и извести, но текла. Американские инженеры починили санитарные траншеи. Дети уже не просто кричали чужие слова — они превратились в послушный маленький отряд, подчиняющуюся двум девочкам. И когда они поднимали руки, выкрикивая английские фразы, в брезентовом тенте школы становилось как будто чище.

Дети кричали «Гуд морниг! Ай эм хангри» — уже не хором, а поодиночке, поднимая руки, как на уроке арифметики, — и от этого крика, от этого смешного, нелепого, детского «я голоден» на чужом языке, — в палатке становилось теплее. Не от температуры. От ритма. От того, что мир обрёл

распорядок, и распорядок был — не военным, не лагерным, а школьным: звонок (удар палки по дну консервной банки), урок (буквы, цифры, сансин), перемена (арахис и банановые шкурки), снова урок.

Так мир обретал новый ритм: жизнь приспосабливалась к пустоте, как вода приспосабливается к форме сосуда.

Их собственная одежда к этому времени превратилась в прозрачную концепцию прошлого. Тёмно-бордовые хакама Мико стали лохмотьями, которые держались вместе лишь благодаря её упрямству и парашютным ниткам. Белая матроска Юрико пропиталась въедливой бурой окинавской пылью так глубоко, что казалась сшитой из серой мешковины. Эта школьная форма больше не защищала — она истончилась, превратившись в памятник миру, которого больше не существовало.

Занятия только закончились. Солнце стояло так низко, что тени палаток накрыли всю южную окраину лагеря. Хината сидел на циновке, сосредоточенно перебирая пустые оружейные гильзы, служившие детям счётами, когда к их пятачку, взметнув белое облако пыли, подкатил армейский «Виллис». Двигатель фыркнул и заглох.

Из машины вышла женщина.

Юрико сразу узнала её — это была та самая женщина с повязкой Красного Креста, которая приходила к ним в самом начале с холодными, оценивающими вопросами. Но теперь креста на ней не было. Она была одета в строгое, тём-

но-синее платье из плотной хлопковой ткани с высоким воротом. В нём не было ничего женственного — ни вытачек, ни складок, ни воланов; оно напоминало скорее спецодежду или глухой мундир без пуговиц, скроенный так, чтобы не мешать движениям. На ткани не проступало ни нашивок, ни знаков отличия, ни звёзд. И в этом отсутствии символов, в этой суровой чистоте ткани, было больше весомости, чем в любой военной форме.

Двое американских солдат быстро выгрузили из кузова джипа четыре огромных, туго стянутых бечёвкой холщовых тюка, бросили их прямо в пыль и отошли в сторону.

Женщина подошла к Мико. Она стояла ровно, заложив руки за спину.

— Здравствуйте, — её голос был низким, деловым, со странным скользящим акцентом. — Мы уже встречались. Я — миссис Санчес. Уми Санчес. Я представляю гражданский отдел военной администрации острова.

Она помолчала, всматриваясь в лица девочек, а затем добавила на чистом, мягком окинавском диалекте — тихо, словно делиась тайной:

— Мои родители родом с острова. Из Урасоэ.

Урасоэ. При звуке этого имени у Юрико что-то коротко и слепо ёкнуло внутри. Это было совсем рядом с её родной деревней Мавасиасато. Это был её прежний мир — разрушенный, перевёрнутый, ушедший когда-то за океан и теперь вернувшийся назад в американском джипе.

Мико выпрямилась. Её спина стала абсолютно прямой, плечи развернулись — привычный рефлекс перед лицом любой неизвестности. В этом движении не было вызова, только абсолютная готовность держать удар.

— Мы можем чем-то помочь, миссис Санчес? — спросила Мико. Её голос прозвучал ровно. Чуть ровнее, чем следовало.

— Здесь одежда, — Уми Санчес указала на тюки. — Гуманитарная помощь из резервных запасов. Там рабочие комбинезоны, блузы, немного гражданских платьев. Вы должны распределить это среди женщин в вашем секторе. Выбрать тех, кому нужнее всего. Но сперва... — она пристально, сверху вниз, осмотрела обтрёпанный подол Мико, — сперва подберите что-то для себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.